

Панаев И.И.: Литературные воспоминания
Часть первая (1830—1839). Глава I (вступительная)

Глава I (вступительная)

Благородный пансион при Петербургском университете. – Профессора и преподаватели. – Речь на акте. – Граф Хвостов. – Письмо ко мне литератора Римского-Корсакова. – Литературный вечер у него. – М. И. Глинка и барон Дельвиг. – Литературные шуты. – Экзамены. – Пирамида и шапочка. – Выход наш из пансиона с помощью влюбленного инженера. – Несколько заключительных слов.

Приступая к моим литературным воспоминаниям, я должен говорить и о самом себе, настолько, насколько это необходимо для связи рассказа. Я буду откровенен. Обличать самого себя труднее, чем других; но я постараюсь быть твердым и не поколеблюсь при мысли, что моя откровенность может подать повод к более или менее остроумным выходкам против меня журнальных и газетных канцеляристов. Такие выходки давно уже не производят на меня никакого впечатления. Отрешившись мало-помалу от большей части диких взглядов и предрассудков той среды, в которой я вырос и воспитался, я могу говорить о своем прошедшем, не смущаясь.

Я учился в Благородном пансионе при Петербургском университете (теперь 1-я гимназия). Перед этим я был помещен в Высшее училище (теперь 2-я гимназия), в котором я пробыл только две недели... Я умолял, чтобы меня взяли оттуда, потому что не хотел учиться вместе с детьми разночинцев и ремесленников. В двенадцать лет, несмотря на совершенное ребячество, я уже был глубоко проникнут чувством касты, сознанием своего дворянского достоинства. Мольбы мои взять меня из Высшего училища нашли не только совершенно основательными, но даже некоторые из близких мне людей рассказывали об этом своим знакомым с гордостью: «Дитя, а какие высокие чувства!» – и я выиграл этим в глазах родных и знакомых.

Меня определили в Благородный пансион. Эти благородные пансионы существовали единственно только для детей привилегированного класса, родителям которых казалось тогда обременительным и бесполезным подвергать своих избалованных и изнеженных деток излишнему труду и тяжелому университетскому курсу, наравне с какими-нибудь разночинцами и семинаристами. Курс благородных пансионов едва ли был не ниже настоящего гимназического курса, а между тем эти пансионы пользовались равными с университетами привилегиями. Некоторые профессора университета и учителя не скрывали по этому поводу своего негодования и высказывали его очень резко, особенно на экзаменах. Они пожимали плечами, покачивали головами и справедливо замечали, что награждать университетскими привилегиями таких неучей, как мы – вопиющая несправедливость. Об этом нам особенно часто повторял учитель латинского языка, преподававший этот язык также и в Высшем училище. Он с каким-то особенным ожесточением нападал на нас. Неблаговоспитанность его доходила до крайних пределов. Если кто-нибудь из нас не знал урока и повторял подсказываемое ему сзади товарищем, – то учитель, насупив свои густые брови, восклицал обыкновенно:

– Коли будешь слушать чужие речи, то тебе взвалют осла на плечи. – Болван!

При таких грубых выходках оскорбленные ученики поднимались со своих скамеек и в один голос говорили:

– Покорно прошу обращаться с нами вежливее. Здесь не Высшее училище. Мы дворяне.

– Ах вы, пустоголовые дворяне! – возражал учитель: – ну какой в вас толк? Да у меня в Высшем училище последний ученик, сын какого-нибудь сапожника, без одной ошибки проспргает глагол ато, покуда я его держу на воздухе за ухо...

Профессор математики, экзаменовавший нас, обыкновенно повторял с злобою:

– Нет, куда вы не годитесь... разве только в гусары либо в уланы.

Впрочем, некоторые профессора и учителя, самые неумолимые, строгие и грубые, оказывались не только снисходительными, даже нежными к тем из нас, которые перед экзаменом адресовались к ним с просьбой о частных уроках. К числу таковых принадлежал и неблаговоспитанный учитель латинского языка.

Когда ученик являлся к нему перед экзаменом с просьбой о частных уроках, учитель латинского языка обыкновенно приятно ухмылялся и говорил:

– Я предупреждаю вас, что беру за уроки дорого... 25 р. за урок. Шесть уроков для вас будет довольно. Это будет стоить вам 150 р. – и деньги покорнейше прошу вперед.

Ученик отдавал ему деньги. Учитель являлся на первый урок, объявлял ему то, что именно он спросит его на экзамене, и затем уже более не являлся на остальные пять уроков, отговариваясь неимением времени или болезнью.

К таким наставникам мы не могли питать уважения; к тому же их рутинное, пошлое, устарелое преподавание по самым жалким курсам не могло не только заохотить нас к учению, но просто отвращало нас от этой мертвой науки – и мы принуждали себя учиться только для того, чтобы получить известный класс... Наши умственные способности несколько не развивались; они, напротив, тупели, забитые рутинной. Бессмысленное заучивание наизусть, слово в слово по книге, было основой учения, и потому самые тупые ученики, но одаренные хорошею памятью, всегда выходили первыми.

Пошлость, тупоумие и разные нелепые выходки наших наставников заставили нас смотреть на них как на шутов и забавляться их смешными и слабыми сторонами.

Профессор истории Т. О. Рогов, вяло преподававший историю по учебнику Кайданова – маленький, тучный человечек, страстный охотник до ватрушек, читал нам однажды об Лжедмитрии. Некоторые из учеников запаслись накануне за ужином сырниками и положили их утром разогреть в печь... Запах творога начал щекотать тонкое обоняние профессора, и он, не докончив фразы, сошел с кафедры и отправился прямо к печной заслонке, отворил ее и, запустив руку в печь, воскликнул:

– Уж тут у вас, наверно, ватрушки?

– Это, Трофим Осипович, – заметил один из учеников, – лжеватрушки, потому что это сырники.

Невинное замечание это показалось профессору оскорблением преподаваемой им науки и нарушением дисциплины. Он взглянул с любовью на сырник, положил его в печь и, обратившись к ученику, сделавшему замечание, с строгим видом произнес:

– А вот я сведу вас к инспектору за вашу неприличную и неуместную выходку! – и погрозил ученику, но потом, успокоившись, вошел на кафедру, растерев предварительно несколько плевков на полу, которых он не мог равнодушно видеть, что, конечно, заставляло учеников заплевывать весь пол перед его приходом.

Т. О. Рогов брал с нас подписку на свой курс истории. Он говорил, что этот курс у него совсем готов, стоит только приступить к печатанию, но прибавлял наивно, что он боится разбойника Полевого, для которого нет ничего священного и который, пожалуй, обругает его.

Преподаватель математики К. А. Шелейховский был еще забавнее профессора истории. Шелейховский был поэт. Рассеянный, бледный, вечно с взъерошенными волосами, он часто

останавливался среди своих вычислений, бросал с негодованием мел, отходил от доски и восклицал тоненьким певучим голосом:

– Мне эта сушь надоела, господа!.. Что вам задал к переводу латинский учитель? – Дайте я вам переводу. Я ведь многие места из Саллюстия знаю наизусть...

Ученики, разумеется, с радостью исполняли его желание, и он тут же принимался переводить, забывая о своей математике.

Он не знал ни одного ученика в лицо и запомнил фамилию только одного, который ходил с костылем; но если ученик с костылем не знал урока, то на вызов учителя выходил за него другой, вооруженный костылем. Учитель никогда не замечал этой проделки.

Преподаватель прав г. Анненский, маленький, худенький господин, с черными масляными глазками и с хохолком наперед, очень смешно пришепетывавший, более всех подвергался оскорблениям воспитанников. Его никто никогда не слушал. Во время его классов разговаривали, кричали, играли под столом в орлянку и в карты, а иногда целые скамейки двигались на него, образовывали около него каре и теснили его к стене. Он сердился, плакал, выбегал из класса и второпях опускал ноги в галоши, не замечая, что они налиты квасом. Когда его перевели в Ришельевский лицей и он в последний раз явился к нам на лекцию, его прощание с нами было смешно, но вместе с тем оставило в нас тяжелое впечатление.

«Господа! – говорил он: – я просцаю вам те оскорбления, котолые вы постоянно наносили мне. Ластанемся длузьями... Мозет быть, господа, кто знает?.. (и в эту минуту на глазах его показались слезы) звезда сцастия заголитса для меня над Эвксинским понтом...»

В этот раз над ним никто не смеялся, и когда один из воспитанников хотел при выходе его дать ему щелчок в затылок, – другие остановили его... Он крепко жал всем руки, и лицо его выражало грустное умиление от чувства признательности, что с ним в последний раз обошлись по-человечески.

Один только из всех учителей пользовался некоторою любовью и вниманием воспитанников за свой смелый и свободный образ мыслей. Это был учитель российской словесности В. И. Кречетов, издавший поэму Подолинского «Див и Пери» с кратким предисловием, в котором сказано было, что «это такой цветок в вертограде нашей словесности, мимо которого нельзя пройти не полюбовавшись». Кречетов был из семинаристов. Он имел с небольшим лет 30, был высокого роста, коренастого телосложения, с орлиным носом, с головою в форме груши, как у Людовика-Филиппа, покрыто белокуроыми волосами с завитками на висках. Волосы эти начинали редеть, что, повидимому, его беспокоило, потому что он имел некоторое поползновение к светскости и щегольству, и он беспрестанно запуская свои пальцы в волосы, отряхивал пальцы перед глазами, брал для чего-то выпавший волос, рассматривал его и раздирал не без некоторого ожесточения. Он имел также особую манеру сморкаться: вынимал из кармана чистый платок, встряхивал его, высмаркивался в самый кончик, завертывал его тщательно и потом оскаливал зубы и потрясал головою... Большим красноречием он не обладал, но вздувал и взмыливал свои фразы, добавляя недосказанное жестами рук и различными телодвижениями. Смелость и свободный образ мыслей его заключались в том, что он открыто и прямо называл Пушкина великим поэтом и даже приносил нам его новые стихотворения, прочитывал их и разбираал их красоты. Тогда это была действительная смелость, потому что даже имя Пушкина, как безнравственного и либерального писателя, нельзя было произносить в учебных заведениях. Кречетов притом подсмеивался над всеми пиитиками и реториками и говорил, что он только по необходимости преподает нам все эти пошлости. Он занимал нас рассказами о своих литературных связях и, упоминая о Баратынском и Дельвиге, обыкновенно прибавлял: мой Дельвиг, мой Баратынский, или мой Евгений. Из древних писателей, знакомством которых он любил щегольнуть, Кречетов более всех восхищался Горацием и называл его также – мой Гораций.

Он любил подтрунить при случае над другими нашими преподавателями и называл их с презрительной гримасой глупыми староверами; нередко намекал нам о том, что у него в голове роятся тысячи мыслей, но что недостаток времени не дает ему возможности олицетворить эти

мысли в поэтические образы. Один из всех наших учителей – он отзывался с уважением о Полевом и о его «Московском телеграфе». Кречетов обращался с нами по – приятельски, не давая чувствовать силу своей учительской и начальнической власти, как другие, и обнаруживал особенное расположение к тем воспитанникам, у которых начинала проявляться страсть к русской словесности. В течение своего годового курса он почти не упоминал нам о риторике и только к концу года, перед экзаменом, давал нам небольшую тетрадку, заключающую в себе ретику и пиитику вместе, для заучивания наизусть... На лекциях же занимался разбором наших сочинений, подтрунивал и острил над ними, декламировал нам стихи Державина, Батюшкова, Жуковского, Козлова и, втайне от начальства, Пушкина, Баратынского, Языкова и Дельвига. Он представлял нам характеристики этих поэтов, рассыпая в страшном количестве прилагательные. Он красноречиво говорил, что строй лиры Державина отличается необыкновенною возвышенностью, что Державин высоко парит, как орел, и гордо ширяет в поднебесьи (и при этом размахивал руками); что смелостию и яркостию фантазии, блеском и роскошью своих образов и картин он равняется с древними скандинавскими бардами; что Батюшков напитался классическим духом и заимствовал у классиков их пластицизм, что Жуковский и Козлов ввели нас в мир таинственный и новый и познакомили нас с романтизмом (слово «романтизм» Кречетов обыкновенно произносил в нос) и пр.

Любимыми словами Кречетова при таких характеристиках были: полнота, округлость, сочность, музыкальность, гармония, – и он беспрестанно повторял их при разборе новейших поэтов, особенно Пушкина и Языкова. Произнося слова «сочный», «округлый», он как бы подтверждал окончательно эту полноту и округлость движениями рук.

Однажды Кречетов явился к нам в класс с таинственным и торжествующим видом. Он сел на свой стул, провел рукою по волосам и, разодрав выпавший волос, обозрел всех нас значительно, потом высморкался в кончик платка и произнес:

– В последних числах сентября... – В последних числах сентября! – повторил он еще выразительнее и приостановился на минуту. – Господа! – продолжал он, – ну что, кажется, может быть обыкновеннее, пошлее, вседневнее, прозаичнее этих слов? Эти слова мы произносим ежедневно, ежеминутно, в самых ничтожных разговорах... В последних числах сентября... Какая проза! А между тем, господа, это первый стих прелестной, игривой, бойкой, ловкой, остроумной поэмы, которая вся искрится поэзией... Вы думаете, что я шучу – нисколько... Этими словами начинается новая поэма Пушкина: «Граф Нулин».

И вслед за тем Кречетов прочел нам несколько отрывков из «Нулина», все, однако, посматривая на дверь со стеклами, выходившую в коридор, в которую нередко заглядывали инспектор или его помощник.

Окончив чтение, он воскликнул:

– Начать поэму такими пустыми, прозаическими словами: в последних числах сентября – это, господа, я вам скажу, величайшая поэтическая дерзость... Только Пушкин мог решиться на это. Вот что значит гений!.. Вы, однако, господа, – прибавил Кречетов, – не рассказывайте о том, что здесь говорится и читается, вашему начальству. Сору из избы выносить не надо...

– Как можно! сохрани бог! – закричали воспитанники в один голос.

После этого понятно, почему они Кречетова любили и почему ставили его выше других преподавателей, хотя он не отличался от них ни особенными знаниями, ни особым умом, ни даже блеском слова.

На меня Кречетов обращал большое внимание, потому что я по-русски писал правильнее других и представлял сочинения, которые ему очень нравились.

С пятнадцатилетнего возраста у меня развилась страсть к чтению и литературе. Я с жадностью и приятным трепетом перечитывал все тогдашние альманахи, особенно «Северные цветы»; романы Вальтер-Скотта; главы «Онегина», выходившие отдельно, и некоторые статьи

в «Московском телеграфе». У немногих из моих товарищей также начинала пробуждаться любовь к чтению, и около меня собирался небольшой кружок слушателей. Укравкою от начальства, под видом повторения уроков, мы таким образом каждый вечер сходились в классе читать романы Вальтер-Скотта или «Телеграф». В «Телеграфе» более всего занимали нас статьи о театре г. Ушакова, в которых кстати и некстати говорилось обо всем на свете, и статьи полемические и критические самого Полевого. Чтения эти все-таки хоть сколько-нибудь способствовали к нашему развитию; но чем более мы приобретали привычку к чтению, тем сильнее чувствовали отвращение к учению, к той науке, которую преподавали нам. Я знал множество стихов наизусть, пробовал сам писать стихами и наконец начал года за полтора до выпуска издавать журнал, подражая в форме «Московскому телеграфу». В этом журнале были повести, стихи, критика, смесь, все как следует. Я показал Кречетову первый номер этого журнала и он, пробежав его, остался очень доволен.

В пансионе начинали смотреть на меня как на будущего литератора, и воспитанники, плохо знавшие грамоту и не имевшие никакой фантазии, стали прибегать ко мне с просьбами писать для них сочинения на задаваемые им темы. Я исполнял эти просьбы очень охотно, тем более что это не составляло для меня никакого труда. Я уже начал набивать руку.

Не помню, кто-то из наших преподавателей вдруг в один прекрасный день, ко всеобщему изумлению, вздумал бог знает почему вооружиться против заучивания уроков наизусть, слово-в-слово, и потребовал, чтобы ему уроки рассказывали своими словами. Как забрела ему в голову такая фантазия – неизвестно, но это привело многих учеников, даже из первых, в величайшее беспокойство. Один из таких подошел ко мне однажды.

– У меня до тебя большая просьба, – сказал он.

– Что такое?

– Да вот ** выдумал глупость, чтобы своими словами говорить уроки. Я думаю вот что... Надо только начать своими словами, а потом можно валять по книге. Он не заметит. Только ты, пожалуйста, запиши мне, как начать своими словами – я и выучу это наизусть, а потом буду продолжать по книге. Ты у нас сочинитель, тебе это нипочем, ты сумеешь это сделать.

Воспитаннику этому уже было шестнадцать лет.

Я исполнил его желание. Он вызубрил мои слова, и потом всякий раз прибегал ко мне с тем же.

Не мешает заметить, что он кончил курс одним из первых и впоследствии, вступив на военное поприще, обратил своими талантами особенное внимание начальства и достиг видного положения.

Кречетов был еще более оценен нами, когда мы перешли в выпускной класс. В этом классе преподавал словесность известный профессор, автор «Военного красноречия» Я. В. Толмачев. Яков Васильевич питал закоренелую ненависть ко всему живому и современному. Он упорно остановился на Державине и даже неохотно упоминал о Батюшкове и о Жуковском. Карамзина он уважал за его историю, и то более потому, что Карамзин читал первые ее главы августейшим лицам и был признан официально историографом.

– Я, друзья мои, – говорил он нам с чувством гордости, – тридцать уже лет ничего не читаю, потому что убежден, что теперь пишут все пустяки.

Когда мы заговаривали с ним о Пушкине или декламировали его стихи, он махал рукою и перебивал, затыкая уши:

– Перестаньте! перестаньте! это все пустяки и побрякушки: ничего возвышенного, ничего нравственного... и кто вам дает читать такие книги?..

О Полевом он не мог слышать равнодушно...

– Это мерзавец! – говорил он, дрожа всем телом, – безграмотное животное, двух строк со складом и правильно не может написать... Лавочник, целовальник, а осмеливается безнаказанно оскорблять людей пожилых, чиновных и ученых!

– Как же вы знаете, что Полевой безграмотный, – возражали мы, – ведь вы сами говорите, что вы тридцать лет ничего не читали?

– Да мне попалась недавно, – отвечал он с неизъяснимым добродушием, – у кого-то из знакомых случайно книжонка, в которой была напечатана между прочим и его чепуха. Я прочел несколько строк и ужаснулся... Да что я говорю, лавочник! Всякий лавочник, друзья мои, напишет правильнее его.

Яков Васильевич задал нам однажды сочинения. Я выписал начало повести Полевого (кажется, «Сохатый») и представил ему выписку за собственное сочинение.

Яков Васильевич читал долго и внимательно, останавливался на каждом периоде и был восхищен изящностью слога, мастерством оборотов и грамматическою правильностью этого сочинения...

– Молодец, друг мой, молодец! – говорил он. – Хорошо, очень хорошо... – И он качал головою от удовольствия. – Я вам скажу, друзья мои, что такой слог сделал бы честь и опытному писателю.... Не поправлял ли, впрочем, тебя кто-нибудь? – прибавил он через минуту задумчиво.

– Нет, никто, Яков Васильевич, – бойко отвечал я, – я это написал сразу-с, без всяких поправок.

– У тебя талант, друг мой, талант!

И с тех пор Толмачев относился ко мне с особенным вниманием и рекомендовал меня инспектору и помощнику инспектора.

В день публичного акта, при выпуске, я подошел к Толмачеву.

– Я виноват перед вами, Яков Васильевич, – сказал я, – я вас обманул. Я вам выдал чужое сочинение, которым вы были так восхищены, за свое... Ведь это вы так восхищались слогом Полевого. Я подал вам подстрочную выписку из Полевого. Видите ли, он, однако, не так безграмотен, как вы говорите.

Толмачев нахмурился, взглянул на меня сначала неблагоприятно, но потом улыбнулся и сказал:

– Что ты, мой друг, какой вздор говоришь!

– Спросите у моих товарищей, если не верите.

– И верить не хочу, и спрашивать не буду, – отвечал Толмачев решительно и отвернулся.

Я, впрочем, еще прежде этого имел счастье обратить на себя внимание Якова Васильевича.

Когда он вошел в первый раз к нам в класс и прочел список новых выпускных воспитанников, он остановился с видимым удовольствием на моей фамилии.

– А что, г. Панаев, – спросил он, – вы родственник тому Панаеву, который написал «Идиллии»?

Этот вопрос преследовал меня. Все начальники и учителя предлагали его мне при вступлении моем в пансион.

– Да, родственник, – отвечал я.

– И близкий?

– Племянник.

– А-а-а! – протянул Толмачев значительно. – «Идиллии» вашего дядюшки образцовые идиллии, единственные у нас в этом роде. Я хоть тридцать лет ничего не читаю, но для Панаева я сделал исключение и прочел его «Идиллии» с великим удовольствием.

Я сделался любимицей Якова Васильевича, хотя не заслужил этого ничем, кроме того, что был племянником моего дяди, не разделяя вовсе мнения достойного профессора об его идиллиях.

Для публичного акта Толмачев задал мне написать речь О значении русской словесности, что-то вроде этого. Задача эта привела меня в совершенный тупик. Я мог с успехом написать сочинение о захождении или восхождении солнца, поездку в Парголово или в Нарву, но как же рассуждать о значении словесности? Я знал несколько стихов Ломоносова и Державина, которые заставляли меня выучивать наизусть; незаметно и добровольно заучил почти всю первую главу «Онегина» и несколько стихотворений Жуковского, Батюшкова, Языкова, перечел все новейшие альманахи и критические статьи в «Телеграфе» – но этим и ограничивались все мои бессвязные знания. Что ж я напишу? Этот вопрос долго мучил меня. Наконец я принялся перечитывать «Телеграф» и написал какую-то нелепую статью, составленную из разных телеграфских критик. Я приделал к ней кое-как фразистое, нелепое заключение, но чувствовал, однако, что все это никуда не годится.

Толмачев взял мою несчастную компиляцию для просмотра домой и потом возвратил мне ее с улыбкой.

– Нет, друг мой, – сказал он, – ты напорол дичь. Уж ты не беспокойся. Я сам для тебя напишу речь такую, какую надобно.

Смысл этой речи я совершенно забыл, да, кажется, в ней и не было никакого смысла. В заключение, как водится, было обращение к государю и изъявление чувства благоговейной признательности августейшему покровителю просвещения за попечение и заботливость об нас.

Я показал эту речь Кречетову. Он перелистовал ее и бросил с презрением.

– Избитые места, пошлость, ни одной живой, свежей, сочной мысли, ничего эдакого... эдакого...

И руки Кречетова пришли в движение для объяснения этого, но ничего не объясняли. Он повторил еще раз эдакого, махнул рукой и прибавил:

– Э! да впрочем, чего ждать от старика, выжившего из ума?.. А можно бы написать славную речь, пропитанную свежими мыслями, обделать ее эдак изящно, как игрушечку...

Начались репетиции в публичной зале. Я читал бойко, четко, с ударениями, с возвышениями и понижениями голоса, не обнаруживая ни малейшего смущения. Инспектор, его помощник, гвернеры – все были в восторге от моего чтения, и я был совершенно счастлив.

На одну из репетиций явился и попечитель К. М. Бороздин – человек очень тихий и добрый. Он также отозвался об моем чтении с большой похвалой.

– Было бы недурно, – заметил он мне, – если бы вы при заключительных словах обратились к портрету государя императора, приподняли правую руку и постарались бы прослезиться.

Я обещал – и действительно прослезился... при мысли, что внизу меня ожидает щегольской сюртук и что через десять минут я буду совершенно свободен...

Это были слезы нервического восторга; я бы заплакал в эту минуту без всяких фраз и речей. Бойкость, с которою я произнес речь, и мои заключительные слезы произвели, как видно, сильное впечатление не только на почетных посетителей, присутствовавших на акте – на неизбежного графа Хвостова и других, но даже на самого министра народного просвещения князя Ливена, и когда меня вызвали для получения из рук его аттестата на чин двенадцатого класса, он сказал мне:

– Я ожидал, что вручу вам аттестат на десятый класс. Отчего же вы не получили десятый класс?

– Я не имею, ваше сиятельство, способностей к математике и потому... – начал я, заикаясь.

– Жаль, – перебил меня министр, – что я не знал этого прежде.

Я раскланялся, взял аттестат и хотел броситься вниз переодеться, как несколько воспитанников закричали мне:

– Панаев, тебя спрашивает граф Хвостов. Делать было нечего. Я вернулся.

Граф Хвостов, согбенный старец, в поношенном мундире с потускневшим шитьем и с анненскою порыжевшею лентою через плечо, когда я подошел к нему, обратился ко мне с следующими словами:

– Ваша речь прекрасна и вы прочли ее с ораторским искусством. Вам делает большую честь, что вы любите отечественную словесность... А Владимир Иванович Панаев вам родственник?

– Он мой дядя.

– Похвально, – заметил Хвостов, задумчиво и как будто про себя.

«Для кого же похвально? – подумал я, улыбаясь неволью. – Для меня, что я имею такого дядю, или для моего дяди, что он имеет такого племянника?»

– Владимир Иванович – мой хороший приятель, – продолжал Хвостов: – я пришлю к нему перевод мой «Сатир» Буало для передачи вам, с моею надписью. Это дар вам от старого поэта, которому вы доставили истинное удовольствие своею речью.

Я раскланялся и убежал переодеться. «Сатиры» были присланы Хвостовым к Панаеву на другой же день, но я забыл их взять – и они так и остались в библиотеке моего дяди.

Но я еще на минуту вернусь к последним дням моей пансионской жизни.

Кречетов поддерживал связи и знакомства почти со всеми кончившими курс в пансионе и имевшими поползновение к литературе или к каким-либо искусствам вообще. К числу таких его бывших воспитанников, сделавшихся потом его приятелями, принадлежал, между прочим,

Римский-Корсаков, напечатавший в конце двадцатых годов несколько стихов и сделавшийся известным своей эпиграммой к плохому стихотворцу. Начало этой эпиграммы я не помню, но она оканчивалась так: – его стихи

Как пол лощеный гладки,
На мысли не споткнешься в них...

Эти два стиха произвели величайший эффект. Они поразили своим остроумием и потому, вероятно, приводились беспрестанно кстати и некстати всеми критиками тогдашнего времени.

Римский-Корсаков жил неподалеку от пансиона, на Загородном проспекте, и в это время (в 1829 г.) у него на квартире остановился больной М. И. Глинка, товарищ его по пансиону, известный тогда уже удачным переложением на музыку нескольких стихотворений Пушкина и других. Кречетов зарекомендовал меня им. Он отзывался с большою похвалою о моей страсти к литературе и о моих литературных способностях.

В один день, когда мы гуляли в саду после обеда, сторож подал мне небольшую рукопись и письмо.

Я распечатал это письмо и прочел не без удивления следующее:

«Простите, что я, не имея удовольствия лично знать вас, но много наслышавшись от В. И. Кречетова о вашей любви к литературе и о вашем таланте, – решаюсь беспокоить вас следующим вопросом: не желаете ли вы приобрести прилагаемую при сем мою небольшую поэму за 15 рублей (тогда считали на ассигнации), чем вы премного меня обяжете, выведя меня из затруднительного денежного положения, в котором я нахожусь в сию минуту. В ожидании вашего ответа, остаюсь и проч.

Ваш покорный слуга

Римский-Корсаков».

Письмо это подействовало сильно на мое самолюбие. Я пришел в восторг при мысли, что меня знают известные литераторы и адресуются ко мне с такими просьбами. Я тотчас же принялся за чтение поэмы Корсакова, которая мне очень понравилась. Если бы у меня были в эту минуту 15 рублей, я сейчас приобрел бы, разумеется, поэму и почитал бы себя счастливейшим человеком в мире, издав ее. Но кроме 15 руб., на издание ее требовалась порядочная сумма – рублей по крайней мере 100 ассигнациями, а у меня не было и гривенника. Занять было не у кого. Я сообщил о моем горе одному из моих товарищей, очень любившему меня. Товарищ обещал мне сначала занять для меня 15 рублей у своего брата, но потом объявил мне с прискорбием, что у него не хватило на это смелости. Я должен был отослать поэму автору с извинением, что при всем моем искреннем желании никак не могу исполнить его просьбы.

Римский-Корсаков, повидимому, не обиделся моим отказом, потому что через два месяца после этого он пригласил меня к себе через Кречетова на литературный вечер...

Это уже было для меня совершенным торжеством.

– Вы тут увидите всех известных литераторов, – заметил мне Кречетов, – и, между прочим, моего доброго Дельвига.

У меня сердце захлебывалось при мысли об этом вечере. Так как вечер назначен был в воскресенье на маслянице, а в 9 часов я должен был уже быть в пансионе, то Кречетов выпросил для меня дозволение явиться двумя часами позже.

Я перешагнул за порог Корсакова с благоговейным трепетом и робостию, но хозяин дома, человек высокий, тучный и апатичный, ободрил меня своею бесцеремонностию и добродушием и тотчас же познакомил с М. И. Глинкою, который обошелся со мною совершенно по-товарищески, расспрашивал меня о своих старых наставниках (он воспитывался также в благородном пансионе) и пародировал их чрезвычайно удачно. Глинка был в этот вечер жив и весел, несмотря на расстройство своего здоровья; он заливался, как колокольчик, и особенно удачно воспроизводил нашего учителя логики и письмоводителя пансионной канцелярии И. А. Колмакова, про которого С. А. Соболевский, сделавшийся известным впоследствии своими меткими эпиграммами, хотя они никогда не появлялись в печати, и дружбой с Пушкиным, написал, еще будучи в пансионе, следующее четверостишие:

Наш учитель Колмаков
Умножает дураков;
Он жилет свой поправляет
И глазами все моргает.

Глинка до такой степени воплотил в себе комическую личность Колмакова, что уже потом, лет через десять после его смерти, олицетворял старого учителя с искусством поразительным, представляя, что бы Колмаков делал и говорил при таких или других обстоятельствах, в таком или другом положении. Если бы Колмаков воскрес, он действительно в таких обстоятельствах и при таких положениях не мог бы поступать и говорить иначе.

Квартира Римского-Корсакова состояла из трех небольших комнат, обставленных кое – какою мебелью. Эти комнатки мало-помалу начинали набиваться гостями и наполняться табачным дымом... Я сидел в уголке и робко взглядывал на каждого нового незнакомца, предполагая в нем непременно литератора. Из первых явился идеал Глинки, Иван Акимович Колмаков. Он обнялся и расцеловался с Глинкой.

Колмаков говорил отрывисто.

– Рад, – говорил он, обращаясь к Корсакову и Глинке, – душевно рад видеть вас... Хорошие приятели, мудрая беседа, бутылка доброго вина – улада жизни... Ты поэт, он музыкант – *suum cuique!*

И при каждом слове он моргал и обдергивал свой жилет. Вместе с Колмаковым явился господин огромного роста и с мрачным, педантическим выражением лица, бывший преподаватель чего-то в пансионе, некто г. Огинский, которого я лет через пять после этого встретил на литературном вечере у графа Хвостова, где он читал свой трактат «Об огне».

Кречетова я застал уже у Корсакова. Он расхаживал как у себя дома, был в очень приятном расположении духа и заранее уже, кажется, предвкушал предстоящий ужин, потому что был большой охотник поесть, сам себя называл гастрономом и считал себя тонким знатоком вин.

Львом вечера был барон Дельвиг, нисколько, впрочем, не походивший на льва. Дельвиг был среднего роста, имел вялые манеры, очень мягкое и симпатическое лицо и как – то задумчиво и вместе добродушно посматривал сквозь свои золотые очки. Он приехал позже других, и при его появлении все всполошились, начиная с хозяина дома. Один Глинка, который был короток с Дельвигом, сохранил обычное спокойствие. У меня билось сердце и я не спускал с него глаз. Мне было невыразимо лестно сидеть в одной комнате с таким знаменитым литератором и притом еще другом Пушкина...

Дельвиг уселся на диван, другие расположились почтительно около него; хозяин дома ухаживал за ним, как подчиненный за начальником. Кречетов беспрестанно заговаривал с ним, стараясь показать свою фамильярность; но Дельвиг, отвечая ему, посматривал на него с полуулыбкою, которая показывала, что он не принимает его слишком серьезно...

Когда Дельвиг и все около него уселись, я наострил уши. «Ну, – подумал я, – вот теперь-то пойдет речь о литературе». Однако ожидания мои были обмануты. Дельвиг говорил мало, о литературе ни слова; только на вопрос о «Подснежнике» сказал, что он выйдет на днях, и показал виньетку к нему, нарисованную Лангером, которая начала переходить из рук в руки. Говорил более всех Глинка, который завел Колмакова и Огинского, чтобы показать их во всем блеске. Колмаков, обдергивая свой жилет и моргая глазами, произнес вроде речи, пересыпав ее цитатами из Цицерона и Горация.

Глинка аплодировал ему, и отовсюду раздавались восклицания «bravo!» Кречетов более всех глумился над Колмаковым.

– У вас прекрасный ораторский талант, – заметил, улыбаясь, Дельвиг.

– Благодарю, барон, за похвалу, – воскликнул Колмаков, – но красноречие приобретается, а поэзия врожденный дар... *Oratores fiunt, poetae nascuntur.*

Колмаков имел своего рода находчивость, и когда ему кто-то из учеников проговорил однажды:

Наш учитель Колмаков
Умножает дураков... –

он моргнул, обдернул жилет и перебил:

– Неверно! следует сказать:

Наш учитель Колмаков
Обучает дураков...

Замечательно, что логика, которую преподавал нам Колмаков, начиналась следующими замечательными словами:

«Философию можно понимать как науку или как способность... Как науку...»

Далее уже я не помню; но хорошо и это начало.

Весь литературный вечер прошел в том, что хозяин дома, Глинка, Дельвиг и Кречетов подстрекали Колмакова и Огинского на разные нелепые выходки и подтрунивали над ними. Колмаков и Огинский забавляли и развлекали общество и бессознательно играли роль шутов. Мне показалось, что и мой друг Кречетов был близок к этой роли. В то время как он острил над Колмаковым и Огинским, над ним также подтрунивали и довольно резко, что меня и огорчало и удивляло вместе; но Кречетов не замечал этого и, повидимому, был очень доволен собою и своими шуточками.

Четыре часа пролетели для меня, как одна минута... Уже в одной из комнат расстилалась салфетка на столе, слышался гром ножей, вилок и тарелок, уже раздавалось шипение из кухни и распространялся в комнатах запах кухонного чада, смешиваясь с табачным дымом. Был двенадцатый час в начале. Мне должно было отправиться в пансион, и я отправился почти со слезами на глазах.

На другой день Кречетов объявил мне, что ужин был составлен из простых, но сытных блюд и вина были очень тонкие; что Колмакова и Огинского напоили и потешились над ними вдоволь; что вообще было очень весело; что он своего Дельвига провожал потом домой и что дорогою они высказали друг другу очень много новых и дельных мыслей о литературе, но не упомянул, впрочем, каких.

Кречетов сообщил мне впоследствии, что этот литературный вечер дан был на занятые деньги, что Римский-Корсаков любит жить широко, только, к сожалению, отец его – очень богатый и скупой человек – совсем не высылает ему денег и потому он находится всегда в стесненном положении; но зато уж если к нему как-нибудь попадут деньги, он задает сейчас же угощение приятелям и истрчивает всё до копейки. «Он славный и добрый малый, с горячим сердцем», – прибавил Кречетов в заключение.

После этого литературного вечера я только и грезил, как бы поскорей окончить курс наук и сделаться литератором. Мы высчитали, сколько месяцев, дней, часов и минут остается нам пробить в пансионе и вычеркивали каждый день...

Время тянулось мучительно. Весна, однако, приближалась... и наступила. На огороде против пансиона начинала подниматься спаржа – несомненный признак скорых экзаменов. При мысли об них холодный пот выступал у меня на спине. Начальство было ко мне очень расположено и предполагало, что я должен выйти одним из первых, потому что первый год после вступления в пансион я учился очень прилежно, то есть отвечал уроки без запинки, слово-в-слово по учебникам; впоследствии это опротивело мне, и я перестал заниматься, но уже слыл, по преданию, прилежным и способным учеником. Я отличался также примерным благонравием, а известно, что в то время (я не знаю, как теперь) благонравие ставилось гораздо выше прилежания. Но все-таки участь моя зависела от экзамена. «Ну что, если я опозорюсь и обману ожидания родителя и начальства?» Мне хотелось выйти 10-м классом, но я сознавал невозможность этого, потому что не имел никаких способностей к так называемым положительным наукам и особенно к математике. У нас проходили дифференциалы и интегралы, а я, как Митрофанушка, не знал даже простого деления!.. Самолюбие мое очень страдало, а спаржа в огороде поднималась все выше и выше. До экзаменов оставалось не более 7 дней.

Мы начинали вставать вместе с солнцем, чтобы приготавливаться. Я уже заметил, что все учение наше основывалось на одной памяти, следовательно память была нам нужнее всего, а я, к сожалению, никогда не отличался хорошею памятью; к тому же она значительно притупилась у меня от бессмысленного долбления. Лениво поднимали меня с постели мои товарищи в 4 часа утра. Я брал грудку книг и тетрадей и отправлялся в класс. Солнце ярко светило. В этот год (1830) весна в Петербурге была очень ранняя и жары начались с мая месяца. В классе было душно. Я хватался то за одну, то за другую учебную тетрадь или книгу с судорожным беспокойством, а между тем дремота долила меня и пот градом катился с лица. Я до сих пор не могу без отвращения вспоминать об этом времени.

Несколько экзаменов сошло с рук довольно удачно, но еще впереди был экзамен в математике, о котором большая часть из нас помышляла с ужасом. Из 15 выпускных воспитанников только пять отличались кое-какими математическими способностями, остальные уподоблялись мне.

Преподавал у нас математику, как я сказал уже, поэт Шелейховский, а экзаминатором был профессор Д. С. Чижов, одно имя которого мы произносили с трепетом, до того он казался нам строг и неумолим. За два дня до экзамена я ходил как убитый. «Что со мною будет?» Эти роковые слова я шевелил в устах, как Каин имя Авеля в стихах профессора Шевырева.

Накануне экзамена я почувствовал себя нездоровым и помышлял было уже о больнице, но некоторые из товарищей, решившиеся всю ночь посвятить приготовлению, уговаривали меня присоединиться к ним.

– Да ведь я уж ничему не выучусь в одну ночь, – печально возразил я.

– Конечно, но все-таки лучше, мы тебе советуем.

И я последовал их бесполезному совету. Один из воспитанников повторял с мелом у доски, беспрестанно исписывал и стирал доску и очень бойко стучал мелом. Я ничего не понимал, глаза мои слипались, и я заснул...

Роковое утро наступило...

На небе не было ни облачка. Солнце светило досадно ярко, как будто для того, чтобы осветить сильнее мой позор.

Экзамен был назначен в 10 часов.

Я сидел у окна, выходявшего на улицу, и каждый проезжий издали казался мне Чижовым. Сердце мое беспрестанно замирало, и я чувствовал необыкновенную слабость.

Пробило 11 часов, а Чижов не появлялся. Нас потребовали в публичную залу. Я соскочил с окна с радостным криком:

– Господа! господа! Чижова уж, верно, не будет!

Но Чижов вдруг, как будто выросший из-под пола, очутился передо мною.

У меня помутилось в глазах и я чуть не упал...

По списку я стоял шестым. В отметке против меня значилось, что я имею отличные сведения в математике.

Вызывали по два воспитанника разом: один отвечал, другой приготавливал ответ на доске.

Дошла очередь до меня. Я подошел к экзаминаторскому столу, вынул билет, развернул его и прочел громко, ничего не поняв.

Инспектор наш, человек очень добрый, даже нежный, мягким и ласковым голосом сказал мне:

– Покуда будет отвечать г. Х, вы нам, душенька, и изложите на доске то, что у вас в билете.

«Да, легко сказать – изложить!», подумал я и подошел к доске, взял мел, снова развернул зачем-то билет и прочел его, хотя знал, что это совершенно бесполезно. В отчаянии я начал чертить на доске какую-то геометрическую фигуру.

Товарищи мои знаками вызвали Шелейховского и сказали ему, чтоб он помог мне. Шелейховский подкрался к моей доске и начал подсказывать мне, робко озираясь...

– Ну, вы понимаете дальше? – шепнул он мне.

– Ничего я не понимаю и ничего не знаю, – сказал я, опуская мел.

– Как! Так вы ничего не знаете! – с ужасом громко воскликнул Шелейховский.

На это восклицание Чижов и инспектор обратились ко мне.

– Что такое? Извольте прочесть ваш билет, – сказал мне строго Чижов.

Я прочел.

– Ну-с, отвечайте.

Я изложил кое-как подсказанное мне Шелейховским, беспрестанно путаясь, и остановился...

– Что же далее? Я молчал.

Чижов предлагал мне тысячу вопросов; он мучил меня, бог знает для чего, около часа. Я стоял безмолвно, едва удерживая слезы и печально опустив руку, в которой держал мел...

Чижов наконец оставил меня, пожал плечами и обратился с досадою к Шелейховскому.

– Каким же образом вы показали, что он имеет отличные сведения, когда он понятия ни о чем не имеет? И это выпускные воспитанники, получающие университетские права! – продолжал Чижов, придравшись к своей любимой теме и обращаясь к инспектору. – Что же я поставлю такому господину? Он, верно, прочит себя в гусары, а либо в уланы...

Инспектор был очень огорчен за меня и начал что-то вполголоса говорить Чижову, но Чижов строго и упорно качал головою.

– Мне до этого нет дела, – отвечал громко Чижов, – в моем предмете я все-таки обязан поставить ему нуль.

В отчаянии, со стыдом и со слезами на глазах и весь в мелу, вышел я из публичной залы, вошел в класс, бросился на скамейку и зарыдал.

Ко мне подошел Павлов, один из товарищей, бывший на отличном счету у начальства, которому он очень ловко подслуживался. Павлов учился на 10-й класс; папенька обещал ему подарить рысак, если он выйдет десятым классом. «Способностями бог его не наградил» и даже не дал доброго сердца. При весьма ограниченном уме и способностях он был пропитан лицемерством и лестию.

При виде моего отчаяния Павлов скорчил добродушную и вместе плачевную гримасу и произнес со вздохом:

– Мне ужасно жаль тебя, братец! Ведь с нулем тебя не выпустят из пансиона. А мне так Чижов поставил четыре, теперь уж я непременно выйду десятым классом!

С таким же утешением он не совсем удачно подошел к другому воспитаннику, с характером гораздо решительнее моего и также получившему нуль в математике. Воспитаннику с решительным характером не понравилось участие товарища и он нанес ему очень значительную неприятность, которую тот перенес с похвальным смирением и кротостию.

Эти добродетели, в соединении с лестию и лицемерием, были, говорят, полезны для него на служебном поприще, так же как и в школе. И здесь и там он достиг того, к чему стремился: при выпуске – награжден правом на чин 10 класса и рысаком, а на службе – чином действительного статского советника и званием камергера... Теперь у него не один рысак, а целый завод орловских рысаков, лента через плечо, золотой мундир с ключом сзади, которым он щеголяет в торжественные дни в своем губернском городе, во время отпусков, стоя на губернских выходах об руку с губернатором и предводителем дворянства. Он величественно говорит: «У нас при дворе... Мы опора трона, наши права...» и тому подобные блестящие фразы.

Обратимся, однако, к экзамену. Горесть моя начинала мало-помалу смягчаться и утихать, по мере того как мои товарищи возвращались с экзамена в таком же положении, как я, то есть: с нулями в экзаменаторском списке и с отчаянием в сердцах. Таких возвратилось уже человек до четырех. «Ну, по крайней мере не один я». Эта мысль утешила меня. После обеда, поободрившись, я отправился в публичную залу. Был уже шестой час. Оставалось человек недоэкзаменованных пять. Чижов был в самом свирепом расположении. Шесть нулей красовалось уже на листе. Поставив последний нуль при самом моем входе в залу, Чижов обратился к Шелейховскому с вопросительной иронией:

– Что же это такое, наконец?

Шелейховский схватил себя за голову, взъерошил волосы и вскрикнул каким-то отчаянным, раздирающим голосом:

– Боже мой! да чем же я виноват? Что мне с ними делать?..

Но это еще были цветочки, – ягодки впереди.

Передпоследним Чижов вызвал Татищева. Татищев был сын богатого помещика, провинциального аристократа, необыкновенно довольного собой, гордившегося тем, что у него в гербе княжеская корона, и оравшего во все горло. Он часто являлся в пансион к сыну и возбуждал своим криком и манерами общий смех... Сын очень походил на отца, кричал так же громко и хвастал перед товарищами своим богатством и своей княжеской короной. Товарищи обращались с ним как с шутком, но, несмотря на это, любили его, потому что он был до крайности наивен и добр. Он написал однажды сочинение для Кречетова, которое начиналось так:

«Солнце склонилось к западу. Был прекрасный и тихий вечер. Филомела пела, а соловей свистал...»

С этой «филомелой» потом не давали ему прохода.

Отец объявил ему, что если он получит 10-й класс, то он будет выдавать ему в год по 5000 руб. асе., если 12-й – 2500 руб., а если 14-й, то 1200 руб. Татищев учился на 5000 руб., как ему это было ни тяжело. Он зубрил с утра до ночи, мучился и все-таки отставал от других, почти ничего не делавших... Но вдруг за полгода до выпуска отец его умирает скоропостижно. Матери у него давно не было. Татищев делается полным властелином своих богатств и перестает учиться...

– Из-за чего я стану теперь себя мучить? – говорил он нам. – Сами согласитесь, теперь мне все равно, каким классом ни выйти. Я завишу сам от себя и буду издерживать, сколько хочу.

И когда учителя спрашивали его уроки, он вставал обыкновенно с своего места, корчил плачевную гримасу и произносил, всхлипывая:

– Я не мог приготовить урока, потому что я недавно лишился родителя и благодетеля.

Учителя улыбались, воспитанники фыркали, и Татищева оставляли в покое...

Итак, очередь наконец дошла до Татищева.

Все воспитанники, печальные и веселые, с нулями и с хорошими баллами, сошлись на это зрелище.

Татищев подошел к экзаминаторскому столу очень бойко, расшаркался не без грации (грации обучала его, по его словам, г-жа Калам, гувернантка, бывшая при нем) и взял билет...

– Покажите ваш билет, – сказал ему Чижов.

Татищев подал ему билет и, неизвестно для чего, с приятностью улыбнулся. Чижов прочитал его.

– Очень хорошо, – сказал он, – подойдите к доске, начертите пирамиду...

– Что прикажете? Пирамиду-с? – закричал Татищев во все горло.

– Ну да! пирамиду, – сказал Чижов, хмуря брови.

Татищев взял мел с торжественностью и начертил круглую шапочку.

– Что же это такое? – спросил Чижов: – я вам говорю начертите пирамиду.

– Вот она-с! – произнес Татищев, тыкая на шапочку указательным пальцем, который состоял у него из двух суставов вместо трех. Вообще фигура Татищева не отличалась большой стройностью, коленки у него были вогнуты, живот вперед и взгляд много утрачивал выражения от бельма, которое у него начинало образовываться на одном глазу.

– Так это по-вашему пирамида? – протянул Чижов.

– Да-с, – твердо и довольно отвечал Татищев, с недоумением, однако, и беспокойством взглянув на товарищей, которые едва удерживались от смеха.

Чижов обернулся к Шелейховскому...

– Г. Татищев! что же это? – произнес с воплем Шелейховский.

Татищев догадался, что дело плохо, и торжественное выражение лица его вдруг сменилось слезной гримасой.

Чижов сделал Татищеву еще два какие-то вопроса – один из алгебры, другой из арифметики, но Татищев отвечал на них одними слезами и, всхлипывая, сказал, что не мог заниматься, потому что лишился родителя и благодетеля.

– Ну, идите, – сказал Чижов, махнув рукою. – Товарищам вашим я поставил нули, а вам, сударь, я и пера не помочу в чернила, чтобы поставить что-нибудь. Вы и нуля не стоите.

Татищев удалился, рыдая.

Но Татищеву все мы, получившие нули, были обязаны своим спасением. Вот как это случилось: за сестрой Татищева, имевшей значительный капитал, ухаживал в это время один инженерный офицер, большой приятель Чижова. Татищев объявил инженерному офицеру, что если Чижов поставит ему порядочный балл, то в таком случае он немедленно изъявит свое согласие на брак, а в противном случае и слышать не хочет ни о чем. Это был последний и решительный ультиматум брата невесты. Инженерный офицер сообщил свое положение Чижову; Чижов тронулся положением своего приятеля, явился в пансион, потребовал экзаменаторский лист и поставил Татищеву 2, а нам всем, вместо нулей, полтора балла.

Не влюбись так кстати для всех нас инженерный офицер в сестру Татищева, мы, кажется, не могли бы разделаться с математикой, если бы остались в пансионе и еще на несколько лет.

И вот мы окончили курс наук. В руках у нас великолепные пергаментные листы с правами на чины и с удостоверениями, что мы во всех науках имеем отличные, очень хорошие или достаточные сведения и притом отличались примерным благонравием. Начальство пожимает с чувством наши руки и поздравляет нас, родители прижимают нас к груди в умилении, мы, разумеется, вне себя от восторга, что уже не школьники. Но ни начальству, ни родителям, ни нам не приходит в голову, для чего мы приготовлены и приготовлены ли к чему-нибудь?.. Внешняя жизнь ослепляет, соблазняет нас, и мы отдаемся ей с увлечением; мы не рассуждаем об явлениях этой жизни, потому что в нас не только не развились мыслительных способностей, но еще забили их пошлою моралью и рутинной.

Мы не приобрели никаких, даже элементарных научных сведений.

В тумане голов наших бродят бессвязно кое-какие исторические имена, названия городов и войн, какие-то годы и цифры, но не только года, столетия мешаются и перепутываются в них. Мы выходим из пансиона такими же детьми, какими вошли в него, – только детьми,

потерявшими пушистость щек и уже начинающими подбривать и подстригать усы и бороду. При нашем невежестве и отсутствии умственного развития мы принимаем все на веру и безусловно и входим в избитую колею, не только не понимая возможности какой – либо другой, лучшей жизни, различной от нашей, но даже не будучи в состоянии вообразить что-нибудь лучшее. Нечего и говорить о чувстве общественном, гражданском. О пробуждении его едва ли и думало тогдашнее воспитание. Чинопочитание, покорность до того были вкоренены в нас в родительских домах и потом развиты в пансионе, что мы, вступая в свет, совершенно теряемся и робеем при появлении каждой титулованной особы и при взгляде на всякую блестящую обстановку. При этом у нас только возникает одна мысль: «как бы поскорей добиться до всего этого?»

Вот каких полезных деятелей приготавлил для отечества благородный пансион!